

Тартаковская Ирина Лазаревна

Я влезла в машину. Абсолютная темнота. Нашупала узкую скамейку вдоль стенки, села. Машина покатила. Меня бросало из стороны в сторону, держаться было не за что. Куда меня везут и зачем? Но страха не испытывала, очевидно, подействовала проглоченная дома валерианка. Было ощущение немножко жути, немножко любопытства, как будто я читала приключенческий рассказ... И было еще чувство облегчения, освобождения от гнета последних месяцев.

Машина остановилась; я слышала, как открылись ворота и мы въехали во двор. Дверца раскрылась, меня вывели из машины и повели в тюрьму; как потом я узнала, это была знаменитая «Арсеналка». Я очутилась перед маленькой камерой, передняя стена которой состояла из прутьев. Там уже стояла какая-то женщина, укутанная в теплую клетчатую шаль. Как же мы обрадовались – это была Даша Разнотовская! Мы бросились в объятия друг другу. Когда в этой клетке нас набралось человек восемь, нас повели по каким-то длинным коридорам, вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец, мы очутились у дверей, в которые нас надлежало водворить. Двери раскрыли и нас втолкнули в комнату, точнее – в камеру.

Мы были совершенно ошеломлены!

Это была большая комната с белеными грязными стенами. Слева была раковина с водопроводным краном, вокруг которой толпились женщины с распущенными волосами, полуодетые. В руках у них были какие-то мокрые предметы туалета, которыми они делали совершенно одинаковые вибрационные движения. Было похоже на какой-то странный, жуткий балет; мелькнула мысль, что мы попали в камеру сумасшедших.

Правая сторона комнаты, большая ее часть, была занята нарами, на которых сплошной массой сидели женщины. Все были чем-то заняты: кто что-то пришивал, кто заплетал косы, кто жевал, кто монотонно раскачивался и взмахивал мокрой тряпкой (о, это движение! Откуда его узнавали? Ведь оно было общим во всех тюрьмах!). Мы испуганно прижимались друг к другу, я крепко держала руку Даши. Вдруг я услышала: «Девушка в красной кофточке, идите к нам». Я одна была в красной кофточке, значит это относилось ко мне. Позвала меня милостивая молодая женщина с двумя маленькими косицами. Идем, – сказала я Даше, и мы двинулись, с трудом пробираясь к нарам, и уже на нарах. Это была Надя Ткачева, жена одного из начальников Ленинградского военного округа. Она, как и те, кто ее окружали, были здесь уже дней 15 и чувствовали себя старожилками. Благодаря Наде мы с Дашей эту ночь спали на нарах. Очень многие, кому не хватало места, спали под нарами, на каменном полу; хорошо, что стояли теплые дни, последние дни прекрасной осени 37-го года.

Не помню, как мы очутились в другой камере. Это была маленькая узкая комната с одними нарами от стены до стены, на которых мы все, 13 человек могли лежать поперек во всю свою длину, а это уже было хорошо. Мы с Дашей не расставались. Однажды открылась дверь камеры, и вошла Вера Жаркова. Я бросилась к ней. Познакомились мы с ней в Озерках, в Доме Отдыха Наркомтяжпрома. Муж ее был Лазарь Аграновский, директор Ленинградодежды. Вера была председателем Женотдела на фабрике. Говорили, что С.М. Киров очень к ней тепло относился. (Она ездила с ним в Германию.) Вера действительно была очень симпатичной, искренней и доброй женщиной, принципиальным человеком. Когда в 1934 году Аграновского арестовали как троцкиста и сослали в Якутию, Вера добилась у Кагановича разрешения и поехала добровольно этапом к своему «лохматому» Лазарю. А в 1937-м году он был из Якутии переведен в Москву, где его ждала участь всех наших несчастных мужей, а Вера попала к нам, на Арсеналку.

Так у нас образовался триумвират. Вера подружилась с Дашей, и они вдвоем за мной трогательно ухаживали. Я была ростом меньше их, и им казалось, что я слабее, чего на самом деле не было. Они хватали мои вещи, когда нас водили в умывалку и уборную, и старались их выстирать.

Боже мой, как страшно вспоминать! Не люди, а скоты, они и нас собирались сделать скотами. Самые интимные человеческие отправления происходили на глазах у очереди. А порядок был такой: неделю нас выводили среди ночи. Когда меня разбудили в первый раз, я удивилась и сказала, что мне не нужно. Но мне объяснили, что нужно идти, т.к. следующая наша очередь будет в час дня. Так нас водили в течение недели. А потом, когда мы привыкли к такому распорядку, нашу камеру начали выпускать в 11 часов утра. Помню ужасную ночь. В привычное время мне захотелось в уборную. Когда терпеть больше было невозможно, я начала колотить в дверь и просить, чтобы меня выпустили. Но «камера» (так мы прозвали тюремщицу, которая нас охраняла – она говорила вместо камера – камера) была неумолима. А когда нас повели в 11 часов утра, я уже ничего не могла сделать. Так у меня начался невроз мочевого пузыря.

Однажды мне передали брошенную в уборной записку. Я глазам своим не поверила – это писала Тоня, моя невестка; она тоже была арестована, через 10 дней после меня и попала в соседнюю камеру. Я была в отчаянии. На нее была вся моя надежда. Во время моего ареста я ей написала, чтобы она не оставила Диму и моих стариков. Я и так была уверена, что она сделает все, что сможет. И вот теперь и она была здесь...

Дни шли за днями. Я совершенно не помню, выводили ли нас гулять. Очевидно – нет. Нас не вызывали на допрос, долгое время не трогали, и мы начали понемногу привыкать. Мучил только постоянный голод. Не помню, сколько нам давали хлеба, но очень хорошо помню отвратительный запах тухлой капусты, когда разносили очередную баланду.

Елизавета Ивановна Маркорян, маленькая полная армянка с красивым молодым лицом и совершенно белыми волосами, тихонько напевала нам арии из опер. Даша декламировала; но больше всего занимал нас вопрос о наших мужьях, о том, что нас ожидает. Как-то постепенно все пришли к единому мнению, что мужья будут высланы в далекие районы, и нас пошлют вслед за ними. У большинства из нас дети оставались с родными. Но было там несколько женщин, которые никакого участия не принимали в наших разговорах. Их неотступно мучила тревога о детях, оставленных во дворе или в пустой квартире. И ничего о них не было известно...

Но вот однажды начали вызывать на допрос. Возвращались измученные, молчаливые. Дошла очередь и до меня. Привели меня в кабинет. За столом сидел молодой красивый лейтенант, и полировал ногти на холеных руках. Он начал спрашивать меня о том, кто бывал у нас, о чем говорили. Все это время он не отрывал глаз от своих ногтей. По его вопросам я поняла, что он хочет меня обвинить в том, что я «знала» о «преступлениях» моего мужа. Устав от его ловушек, я сказала: «Я вижу, что вам обязательно нужно меня в чем-то обвинить, но ведь вы видите, что я ни в чем не виновата. Мы только напрасно тратим время. Вам просто нужно меня посадить». «Ну что вы! – воскликнул он, – в лучшем случае вас отправят домой, в худшем – на высылку». Интересно, верил ли он сам в это? Фамилия его была Гисич [?] (может быть, псевдоним, как у многих из них?).

Потом переводы из камеры в камеру, новые знакомые. В какой-то из камер очутилась с Анечкой Лавровой, моим самым дорогим другом до самой ее преждевременной смерти в 1956 г. (ей было 49 лет), с Верой Морозовой, «Нинками», Елизаветой Алехиной. А еще раньше встретилась с женой замечательно симпатичного Коли Монахова, директора завода пишущих машин, – Леной Басок, с которыми мы раньше бывали вместе в Озерках, одностенном доме отдыха Наркомтяжпрома. У нее же я познакомилась с Элей Донях, женой Блейса – они жили в Астории. Года за два до этого их мужья были арестованы и отбывали свои 5 лет в Соловецких лагерях. Они писали оттуда. Но в зловещем 37-м году «кому-то» этого показалось мало, и их, очевидно, постигла участь всех остальных – расстрел.

Приближались ноябрьские праздники.

Мы почувствовали, что что-то происходит. Пошел слух, что из других камер вызывают и объявляют приговор. В зарешетчатое окно нашей камеры мы видели двор тюрьмы

(как часто теперь я проезжаю мимо этого здания. Теперь здесь, кажется, психиатрическая лечебница. А у меня всегда одно тяжелое воспоминание. Не о себе, о маме. Об этом я ниже напишу).

Тех, которых уже вызывали, выводили на «прогулку». Они нам делали какие-то знаки, когда оказывались вне поля зрения конвоя, но то, что можно было расшифровать было совершенно абсурдно. Пальцами показывали решетку, потом кто показывал пять, кто восемь пальцев.

Дошла очередь и до нас. Я очутилась в каком-то цементном помещении. Перед маленьким столиком, поставленным (в дверях) у входа в мрачную пустую комнату стоял стул, на который предложил мне сесть человек тюремного типа, сидящий по ту сторону столика. «Вам объявляется приговор, – сказал он, – распишитесь». Я смотрела на лежащую передо мной бумагу и не верила. «8 лет Нарымских лагерей». За что? «Расписывайтесь быстрее» – закричал он. Ошеломленная, я спросила: «И вам не стыдно?» Он как-то растерянно сказал «нет». «Но когда-нибудь станет стыдно» – продолжала я (я еще была очень наивна). Расписалась. Потом я слышала, что иногда говорили: «Такого-то отпустили, потому что он не подписал». Какое это имело значение, что значили наши подписи? Любой из них мог поставить любую подпись. Кто это проверял? Никто... Несколько человек, например Клара Пружанская, не согласились подписать приговор. За строптивость их посадили на несколько дней в тюремный карцер с крысами, мокрыми стенами, а потом вместе с остальными вывели на этап.

После этой церемонии меня привели уже в новую камеру. Там было много незнакомых (вот там-то я и увидела впервые Анечку Лаврову, Веру Морозову, Алехину и Нину Лекаренко. (Нину Старосельскую в одной из первых камер. Открылась дверь камеры и вошла высокая молодая тоненькая, похожая на мальчишку женщина, заплаканная. Она молча легла на узкую скамейку, накрылась с головой своим пальто и проплакала до утра). Все они стали моими близкими на всю жизнь.

Оказалось, что часть женщин получила пять лет лагерей, остальные – восемь. Как мы обрадовались с Дашей Разнатовской, когда она пришла и объявила, что у нее тоже восемь лет. О том, что это годы лагерей, мы не думали, просто не верилось. В тот момент это означало, что мы, по всей вероятности, не расстанемся.

Нам объявили, что мы можем написать домой. Выдали открытки, и мы написали, чтобы нам принесли теплые вещи, сало, чеснок, что 25 октября нас отправят.

Но из-за полного отсутствия ответственности, из-за садизма и жестокости, нас отправили на несколько дней раньше указанного срока.

Через 8 лет, когда мы встретились с Нюрой, она мне рассказывала, как она плакала, возвращаясь из тюрьмы с передачей, которую моя бедная мама и отчим послали, с трудом купив на свои последние деньги. Нюра не могла принести это домой, она оставила посылку у соседей, Крисановых.

Тогда же она рассказала мне, как мама от других женщин узнала, что позади тюрьмы есть дом, из окна парадного которого виден двор тюрьмы, куда обычно выводили на прогулку заключенных (но нас не выводили). И мама бегала туда в надежде хоть издали увидеть меня. Когда жильцы проходили по лестнице, мама спускалась или поднималась, боясь, что ее выдают. Однажды она побежала, упала и повредила ногу, с трудом добралась домой. Тогда она очень рыдала. А раньше я не помню маму плачущей.

Этап

С нами очень торопились. Необходимо было нас отправить из Ленинграда до ноябрьских праздников, а то как бы мы чего-нибудь не «выкинули».

В один из двадцатых чисел октября нас стали выводить из камер и сажать в транспорт. Мне опять повезло на «черного ворона» (их не хватало, и некоторые попали в автобусы,

откуда они хоть в последний раз могли полюбоваться на предпраздничный Ленинград). Взяла я свою наволочку с имуществом – двумя бюстгальтерами, бельем, халатиком, (самое ценное – английскую книжку «The dark flower» Голсуорси и маленький словарик, вместе с золотыми часами, которые мне Вася привез из Германии, и маникюрными ножничками, отобрали еще при поступлении в тюрьму). Из соображений какой-то высшей конспирации нас опять всех перемешали, я никого не знала из тех, с кем меня повезли.

Нас везли по улицам Ленинграда, а сердце разрывалось от тоски. Как мама переживет это, что они будут делать с Димой, когда я их всех увижу? Хорошо, что я не знала, что нас всех ожидает! На углу Литейного и Невского образовалась «пробка» и наш «черный ворон» остановился. Сквозь решетку оконца я увидела витрину огромного гастрономического магазина, увешанную чудесными яствами, от которых мы уже отвыкли; ведь кроме «баланды», которая пахла вываренным грязным бельем, мы ничего не получали.

Привезли нас на запасные пути, на которых совершенно не было людей. Все вокруг было оцеплено. Наша машина остановилась против поезда, состоящего из теплушек. По обеим сторонам досчатых сходней стояли здоровые парни, держащие на поводках рычащих и рвущихся овчарок. Измученные, опустошенные от отчаяния, мы поднимались по сходням и ныряли в черноту. Потом только, привыкнув к темноте, можно было разглядеть двухэтажные нары с двух сторон теплушки? Оконце было забито кроме решетки досками под углом, как карман, так что видно было только небо.

Между верхними и нижними нарами было так мало пространства, что сесть на нижних нарах было невозможно. Приходилось туда вползать головой вперед. Мы чередовались – одни сутки одни лежали внизу, другие сутки – другие. Это было очень страшно; те ночи, когда я была внизу, я не могла заснуть. Прямо надо мной прогибались под тяжестью 8 крупных женщин, ходуном ходили и скрипели доски. Все время казалось, что все это рухнет на нас и задушит.

Сколько же нас было в теплушке? Хорошо не помню, 16 – восемь вверху и восемь внизу, или 32? Сливаются первый и второй этапы.

Каждое утро и вечер в теплушку входили конвоиры, и стоя друг к другу спиной (чтобы мы не напали), перегоняли нас по одной с одной стороны на другую, и таким образом пересчитывали – не удрал ли кто. Трудно себе представить, как можно было удрать! Теплушка все время на замке, на окне решетка, единственное отверстие, которое служило нам уборной (над ним же мы кое-как споласкивали лицо и руки той водой, которая выдавалась нам для питья), было так мало, что одна нога могла бы пролезть, и потом – бррр... подробности писать не хочется. Разносили нам какую-то немислимую баланду из вонючей рыбы – сколько нужно было ее гноить, чтобы получился такой запах?

Но иногда те, у которых было немного денег, взятых с собой в тюрьму, собирали их и передавали конвоирам; они покупали на станциях хлеб, булку, сахар. Это было несколько раз, но этого было очень мало, потому что делили на всех, конечно.

Помню в своей теплушке Берту Скобло, с мужем которой мы встретились и подружились потом в Магадане – это единственный известный нам случай, когда муж оказался жив. Может быть, его спасло то, что он был профессор невропатолог и он был нужен? Помню еще Кету Пискареву, Лелю Березину – совсем еще девчонку, танцовщицу.

Кроме всего прочего произошла еще одна неприятность. Из дома я взяла плед. На голове был беретик, на руках перчатки, которые я очень любила – мне их прислали из Германии, теплые, мягкие. Где-то Пискарева решила за мной поухаживать, и через отверстия в решетке начала вытряхивать мой плед, и при этом выкинула мой берет, кашне и перчатки.

Сколько нас везли – не знаю. Сменялись, налезали друг на друга дни и ночи, без счета, знаю только, что очень долго. Каждый раз на станциях нас, очевидно, загоняли в тупик, чтобы никто нас не видел. А впрочем, кого было бояться. Все были настолько запуганы, что когда видели целые составы с решетками на окнах, которые день и ночь следовали по направлению к Сибири, к Дальнему Востоку, старались поскорей уйти подальше.

Но вот наступил день, когда поезд остановился. Звякнули замки, отодвинулись щеколды, распахнулись двери теплушек. Приказ – по одной прыгать из теплушек.

Онемевшими ногами прыгали мы в снег. Томск 2-й. Совсем зима. Я натянула на голову кофточку. Хорошо, что Нюра заставила меня взять с собой зимнее пальто и резиновые сапоги. А ведь многие были в летнем!

Из других теплушек тоже выводили женщин. И вдруг закричала Дора – молодая женщина из нашей теплушки. В одной из дальних групп она увидела свою сестру, арестованную до нее. Мы взглянули туда. Там стояли женщины с грудными детьми. Потом оказалось, что детей – сорок.

Я вспомнила. В трест Апатит поступил новый работник снабжения – Хведзюк. Его узнала Мария Алексеевна, жена «Вали Бледного», и рассказала, что в 20-х годах был судебный процесс, на котором она присутствовала.

Этот Хведзюк был помощником Бадаева. У него была жена. Однажды к ним приехала откуда-то сестра жены, и он влюбился в нее. Они сошлись. Так как жена мешала, от нее решили избавиться. Она и сама чувствовала неладное, и хотела уехать в деревню к родным. Но Хведзюк дал ей письмо и просил перед отъездом свезти его в один дом. Там ее убили, как было договорено. Сестра следила за ней, поехала ли она туда, где ее должны были убить. На суде ее обвинили, как сообщницу. В результате муж согласно действовавшим тогда законам, получил 8 лет, а его любовница была освобождена, так как оказалась беременной.

А здесь было сорок женщин с младенцами, вина которых была сформулирована вновь изобретенной статьей «член семьи врага народа».

Кстати, Кондриков не мог примириться с мыслью, что у него будет работать убийца, и от Хведзюка каким-то образом избавились.

И вот нас повели.

Это был Томск 2-й. Конечно, от Томска у нас не было никакого представления. Пустыри, уродливые железнодорожные строения, склады.

Нам было объявлено, что ни шагу в сторону, иначе будут стрелять, поэтому мы жались друг к другу. Сопровождающий нашу группу стрелок вдруг загоготал, и указывая на забор, мимо которого мы проходили, сказал – а вот это кладбище, недалеко будет вас хоронить.

Вот наконец мы и пришли в наш новый дом – Томскую пересыльную. Ряды деревянных бараков с решетками на окнах. Кроме нас там уже были «члены семьи», т.е. «жены» с Украины, Сибири, Урала.

Нас развели по камерам. Я оказалась в ленинградской группе с Верой Морозовой, Ниной Лекаренко и Ниной Старосельской, Эней Дониях и Леной Басок. На душе стало легче. И, конечно, с Анечкой Лавровой. И еще была Соня Зельдич.

Уголовники, которые разносили нам страшную «баланду» - мутную воду, в которой плавало 5-6 твердых полусырых горошин, и вносили и уносили парашу (здесь нас не вывели), шептали нам: вас погубят. Вас хотят вести в Нарым, а начались уже сильные морозы. Одежды для вас нет, так вас и поведут неодетыми.

Но нас никуда не вели. Мы постепенно теряли силы от голода. У меня началась цинга.

Однажды появилась какая-то комиссия – «блестящие» военные, человека три. Между прочим спросили, как мы тут. Я лежала и от слабости не могла поднять головы. Мои подружки до сих пор со смехом вспоминают, каким я драматическим голосом неожиданно для всех воскликнула: Клюква, нам нужна клюква! (у меня кровоточили десны).

Потом выяснилось, что с нами не знали, что делать. Мы оказались сверх плана; нас собрали со всех сторон – две тысячи женщин. Вести нас этапом – мы не дойдем; транспорта не было. Каждый день уголовники приносили нам жуткие новости, но мы уже перестали реагировать, было безразлично, лишь бы что-то определенное. Помогало то, что были вместе люди одинаковой культуры, понимающие друг друга. Мы находили в себе силы с юмором относиться ко многому...

Не помню точно, сколько мы пробыли в Томской пересыльной тюрьме, кажется - месяца два.

Но вот однажды нас снова собрали и повели. На этот раз недалеко. Мы прошли через ворота и очутились в отгороженном пространстве. В один ряд тянулись деревянные бараки, пять или шесть. Опять нас перемешали, но сейчас это было уже не страшно. Мы перешли на положение лагерников, камеры открыли, и мы могли теперь общаться, с кем хотели (то есть между собой, конечно). Я попала в камеру с Леной Басок, Эней Дониях, Дусей Тарасовой, Ниной Казанской, Ольгой Тереховой, «Нинками» (Лекаренко и Старосельской). В соседнем корпусе, но в нашем же бараке оказалась и моя невестка, Тоня Паршина. Мы были очень взволнованны и обрадованы этой относительной свободой. И с питанием стало лучше. Людмилу Кузьминишну Шапошникову (жену второго секретаря Ленинградского обкома Чудова) назначили заведующей кухней, несколько женщин, в том числе ловкая Дуся Тарасова, пошли работать в кухню. Три раза в день дежурные приносили бачок с горохом или кашей, или супом из трюхи. В кухне сообщали – черпак на двоих, или по черпаку, или «с добавкой».

Сентябрь 1975 г.

Вот и лето прошло... Напрасно я не взяла с собой этой тетради. Снова отвыкла писать, забыла, о чем писала, и так трудно собраться с мыслями. Когда я рассказываю, все оживает, одно тянется за другим, я не могу остановиться, а вот когда пишу, мне трудно сосредоточиться, наверно – это с непривычки.

Продолжаю.

Лагерь наш состоял из пяти барачных корпусов, очевидно, считалось шесть, так как в нашем бараке было 2 корпуса. Каждый корпус имел старосту. Нашей старостой была Екатерина Васильевна Фокина. Это была женщина лет 36-38, статная, с правильными чертами лица, с холодными глазами. Потом мы стали замечать, что с кем бы она ни сблизилась, начала встречаться, шептаться, в скором времени эта женщина исчезала – ее с вещами выводили за стены нашего лагеря. Она оказалась провокатором, как Земскова и Мальцева).

Кроме старосты в каждой камере назначались по 3 дневальных. В обязанности дневальных входило наблюдение за женщинами, чтобы никто не повесился, не подрался, и вообще, чтобы не было ничего, нарушающего лагерный порядок. Особенно тяжело было дежурить ночью. Одно время я была назначена дневальной. Помню эти ночи. В бараке 70 с лишним женщин. То тут, то там раздаются стоны... Где-то приглушенно кто-то плачет. А сквозь решетку окна видно черное небо с яркими звездами, и откуда-то из города доносятся звуки музыки, еле слышные. Кажется, что сердце разорвется от тоски.

Наша камера – узкая длинная комната. По обеим сторонам (а потом и по третьей стене, короткой, где окно) – двухэтажные нары. Ночью спать так тесно, что все могут спать впритык друг другу в одну сторону. Если одна во сне переворачивается, сейчас же переворачиваются и все остальные (на человека 35 сантиметров). Кто спит на своем пальто, взятом из дому, кто на пледике, кто на голых нарах.

Утром в барак являются стрелки, и дежурная докладывает (все, конечно, встают в полном молчании, улыбаться нельзя): «гражданин дежурный, в бараке столько-то з/к... и т.д.

Потом наши дежурные отправляются на кухню за баком и пайками хлеба. После еды, кроме тех, кто работает на кухне, в хлебозерке, в медпункте, и дежурных, можно заниматься, чем хочешь. Многие помогают нянчить подрастающих детишек, но большинство занимается воспоминаниями, разговорами. Наша ленинградская камера, где главным образом жены специалистов, ответственных работников, не славится скандалами, но некоторые московские камеры, где жены бывших наркомов, которые никак не могут прийти к

соглашению, какой нарком был важнее, знамениты скандалами. Это публика очень типичная. Бесконечные воспоминания о роскошных нарядах, мебели.

Многие женщины занимались вязанием. Распускали вязанные вещи, из кусочков дерева при помощи осколков стекла делали крючки и вязали заново. Я спасалась тем, что вышивала. Нора Кондиайн, художница, нарисовала мне на черном шелку фантастический рисунок для подушки. Дерево, с которого спускается змея, рядом павлин с распустившимся хвостом, какие-то экзотические цветы. Черный шелк мне дала Лепешинская – это подкладка рукава от пальто. А нитки – кто-то распустил шелковую трикотажную кофточку, кто-то вытянул нитки из лент – вот так и набралось ниток, и получилось красиво. А потом вышила крестом тюбетейку для Димочки, и спустя несколько лет, уже из Магадана, с оказией переслала маме.

Даша Разнотовская мне изменила. Она подружилась с Людмилой Шапошниковой – у них оказалось много общих знакомых по партийной линии (муж Даши, Буковский, был в охране С.М. Кирова). Даша стала «хлеборезкой» (выдавала хлеб всем нам, и они с Людмилой жили там же в хлеборезке вдвоем.

У нас сложилась компания, главным образом, из ленинградок: Анечка Лаврова, Вера Морозова, Елизавета Алехина, Эня Дониях, Лена Басок, Нинки, дружили мы и с Галей Лерхе, танцовщицей харьковского театра. Мне кажется, что мы помогли друг другу выжить и остаться полноценными людьми. Всех их я до сих пор люблю и уважаю.

Время от времени происходили какие-нибудь события.

Красавицу, обаятельную молодую женщину Нюсю Ларину, жену Н.И. Бухарина, увели за ворота с вещами после того, как ее несколько дней «прогуливали» Фокина.

Аня Серебрянская, ленинградская пианистка (или ученица Консерватории), бесконечно тоскуя по оставленной дочке, сошла с ума.

В лагерь привели женщину, которая «задержалась в дороге», так как перерезала себе горло консервной банкой и находилась в тюремной больнице. Она не знала, где двое ее детей.

Однажды все были ошеломлены – увели Веру Бень, но не «за ворота», а освободили. До сих пор нам не понятно, как это произошло. Говорят, отец ее был пожарным где-то в НКВД. Не знаю, правда ли это. Это была красивая молодая женщина. Стройная, с очень белой кожей и темными глазами. Когда через много лет после освобождения, все начали возвращаться, она избегала встреч, так что никто не знает, как это произошло.

Кажется, это событие будоражило весь лагерь, много дней во всех камерах обсуждался этот выходящий из рамок однообразной повседневной жизни случай.

Однажды ворота нашего лагеря открылись, и въехал грузовик, нагруженный ящиками. Это оказались посылки. Трудно описать волнение всего населения лагеря, радость тех, кто их получил, надежды остальных. Значит, близкие узнали, где мы, и будут о нас хлопотать. Получившие посылки бегали из барака в барак с пакетиками – угощением для друзей. Но у большинства (в том числе и у меня) текли слюнки: запах и вид сала, масла и других яств вызывал отчаянный голод. Особенно я страдала от отсутствия сахара. Против меня на нарах сидела Кета Пискарева и с наслаждением ела кусочки посылочного сахара, а у меня от этого зрелища темнело в глазах, я старалась не смотреть в ту сторону, закрывала глаза, но меня преследовал хруст раздавливаемого зубами сахара.

Первая из нас получила посылку Тоня. Вот радость была! Анечка Лаврова, Эня Дониях – кажется, все получили посылке. Это было как будто пришла весна. Ведь кроме того, что мы, изголодавшиеся, смогли поесть досыта, мы с волнением прикасались к каждой коробочке, каждому предмету – это все было из другого мира, к этому прикасались руки наших дорогих.

Если в посылке были записки, их тут же, не показывая их нам, уничтожали; любую бумажку, обертку тоже. Духи, одеколон выливали.

Когда я получила посылку, меня, как и всех, вызвали в специальную каморку, разгороженную столом. С одной стороны стола, внутри, стоял наш комендант (коменданта

нашего, бравого круглолицего парня, мы прозвали «орлом»), с другой, с внешней стороны стала я. Ящик открыл, каждую вещь вынимал, осматривал и молча, по очереди отдавал мне. Валенки, белый шерстяной платок, кусок сала, чеснок (увы, слишком поздно, цынга уже сидела во мне), лук, сахар, что-то еще. Но вот круглая железная коробка из-под икры. «Орел» открывает ее – там черные блестящие ягоды – маслины (мы с мамой их очень любили). И вдруг я увидела на надменном непроницаемом лице обыкновенное человеческое любопытство. Он спросил шепотом – что это? Я говорю – это маслины. Но вижу, что для него это слово неизвестно, и он продолжает заворожено смотреть на экзотическую ягоду. Тогда я, тоже шепотом, говорю – попробуйте, это вкусно. Он вороватым движением хватает ягоду, отправляет ее в рот... Трудно мне описать, как исказилось его лицо, какое отращение появилось на нем, он выплюнул маслину и был так возмущен и оскорблен, что я думаю, если бы от него зависело, он бы мне за нее добавил несколько лет.

Каждый вечер перед отбоем нас выстраивали перед бараками для счета в пять рядов. «Орел» считал первый ряд, и потом с апломбом говорил, умножая на пять: столько-то в пятой степени...

Писем мы не писали и не получали. Посылки запретили.

В 1938 году появились у нас в лагере двое совсем молодых парней в военном. Очевидно это были либо тюремные канцелярские работники, либо НКВД. Но бедные женщины как с ума сошли. Откуда-то «из-под полы» появились огрызки карандашей, клочки бумаги, и вот на имя Ежова посыпались заявления с просьбой пересмотреть дело (какое дело?). Одна писала, что уж десять лет как разошлась с мужем, за которого сидит, как «член семьи изменника родины», девочки Николаевы писали – ведь дети за родителей не отвечают. Была одна молодая девушка. Она поступила домработницей к пожилой бездетной паре. Они ее удочерили. Когда его, а потом и жену, арестовали, она ходила, искала их. Арестовали и ее. Она об этом написала. Из окружающих меня людей тогда уже никто ни во что не верил, и поэтому мы ничего не писали, да у нас и не было чем и на чем писать.

На другой день после появления этих военных нас начали по очереди вызывать в один из барачков, превращенный в канцелярию. Очевидно, это была всесоюзная перепись населения.

И тут начались новые волнения.

9/IX

Кто-то первый, не помню, кто обратил внимание на газету, вернее, кусок газеты, подложенный под чернильный прибор на письменном столе, на котором нас вносили в списки. Газета была положена так, что из-под прибора бросалось в глаза напечатанное крупным шрифтом сообщение о назначении Лаврентия Павловича Берия наркомом внутренних дел. Конечно, парни это сделали специально, то ли пожалели нас, то ли еще что. Но весть об этом облетела весь лагерь, и каждый, кто заходил, первым делом ошеломленно читал эти строки, хотя все уже знали их наизусть (не могли же эти парни не видеть, куда были направлены взоры каждой вызванной женщины!). И опять надежды, и опять взволнованные разговоры, споры. Эта таинственная перепись (мы ведь ничего не знали о всесоюзной переписи, да и то, это мое предположение), это новое назначение... И ведь большинство были уверены, что все аресты были делом рук Ежова, а бедный милый «папа» ничего не знал. Впрочем, были и такие, которые говорили с видом людей, знающих больше, чем они могут сказать: «раз взяли, значит, так нужно было». Меня выводили из себя эти идиотки, я говорила – значит, вы знаете, что вас нужно было посадить, ну и сидите себе, а за что же нас... и т.д. Но спорить с ними было и напрасно и опасно.

Надежда все больше охватывала лагерь, когда раздался голос Марики Завриевой; она сидела за мужа, занимавшего какой-то пост в Закавказском ЦК. Марика сказала – если назначен Берия, то это конец. Он страшный негодяй, от которого отказались его родные, ничего хорошего не ждите.

Увы, действительность оказалась страшнее, чем мы могли себе представить.

Разве возможно было подумать, что вскоре кровь польется рекой, что сотни тысяч честных, порядочных, то есть конечно всяких обыкновенных людей, наших родных, любимых поведут на казнь, что невероятной клеветой, ложью опутают память о них. Вася, который в 18 лет взял в руки винтовку и пошел воевать за советскую власть; и всю свою жизнь, на какую бы работу ни назначили его, своим блестящим талантом подымал любое дело, был ли это банк, или почтовый округ, или апатитовая проблема... А Миша, добрый, честный и преданный человек, хороший инженер. Бедный мой братик, какое тяжелое, голодное детство было у него, какая трудная юность. По ночам он расчищал от снега улицы, или дежурил у ЛСПО (теперь Пассаж), а днем занимался, всегда отлично. Взяли его, как потом уже я выяснила, как японского шпиона.

В Электроток, где Миша работал, приехал из Америки из Амторга инженер Каминский. Мы через Амторг закупали для Электроточка оборудование. Миша его заказывал. На совещании они познакомились с Каминским, почувствовали симпатию друг к другу. Потом Каминского перевели в Японию. И оттуда он прислал Мише маленькую бандероль: рубашку, галстук и логарифмическую линейку. Так как Миша с Тоней жили на территории 2-й ГЭС, то посылка пришла в проходную, и вахтеры ему сказали о том, что она пришла и предлагали забрать ее. Это был конец 36-го, 37 год. Миша мне говорил: зачем мне нужна эта посылочка, мне ничего не нужно. Как будто предчувствие было у него. Пришлось ее взять. Рубашку и галстук он тут же кому-то подарил, оставил себе только линейку. Очевидно, вахтеры были «бдительны». Но самое нелепое, что Каминский продолжал работать, когда вернулся в Советский Союз. Наверное, план по арестам был уже выполнен. Так я никогда не узнаю, что сделали с моим братом. Прожил он 29 лет.

О Екатерине Львовне Шейнман

10/IX

Однажды, году в 30-м, мы с Васей зашли в булочную, которая тогда еще называлась «булочная Иванова», рядом с Мариинским театром. Что-то там купили, а когда вышли, Вася показал мне десятирублевую ассигнацию и говорит: видишь, подпись Шейнмана. Я его знал. Это первый председатель Госбанка. И рассказал о нем, что он потом работал в Амторге (в Америке) и что когда внешняя политика СССР изменилась, он не согласился с этими переменами. В Советский Союз он не вернулся (очевидно, понял, что его ожидает). Все бумаги и партбилет переслал Довгалевскому (?). Его очень уговаривали вернуться, но он не поддавался на уговоры. Тогда ему предложили работу в Англии, в каком-то нашем представительстве, и там он и сейчас с семьей.

В 1937 году, когда за мной пришли меня арестовывать, я с немногими, самыми необходимыми вещами (2 смены белья, халатик, мыло и зубная щетка и т.д.) положила и английскую книжку – Голсуорси «The Dark Flower» и маленький словарик (я в то время занималась английским). Каким-то чудом, совершенно необъяснимым, когда нас отправляли в этап, мне отдали эти 2 книжки, отобранные при аресте. До сих пор не понимаю, как это случилось! Но когда мы в Томске очутились вне тюрьмы, уже в лагере, где могли общаться друг с другом, слух об этом прошел по всему лагерю, и ко мне потянулись все, знавшие английский; а таких было немало.

Однажды ко мне подошла пожилая женщина (ей было 55 лет) и попросила меня, чтобы я включила ее в очередь на книгу. Так мы познакомились с Екатериной Львовной Шейнман.

Она оказалась очень интересным человеком. Много рассказывала мне о себе. Работала она юристом во Внешторге в Германии. Там она сошлась с немцем и родила девочку, которую назвала Эврикой. Замуж за него она не согласилась выйти, они оказались совершенно разными людьми. Когда началась война 14-го года, ей пришлось покинуть Германию, но ребенка брать с собой в трудную дорогу она побоялась. В Германии она жила в пансионе, и там за девочкой ухаживала молодая немка, которая привязалась к ней. Она

просила оставить девочку на время в ее семье. Пришлось это сделать. Эврике было в то время пять лет.

Прошли годы – несколько лет войны, потом революция. В Германию вновь попала она только в 30-х годах. Она нашла эту семью и встретила со взрослой красивой девушкой – своей дочерью, о которой она неотступно думала все эти годы. Но встреча эта оказалась очень горькой. Дочь ее была воспитана в чисто-немецком духе, считала себя немкой. У нее был жених нацист и появление матери-еврейки, да еще приехавшей из Советского Союза было для всей семьи неожиданным ударом. Екатерина Львовна поняла, что дочь она потеряла, что если она будет стремиться к дальнейшим встречам, та ее возненавидит. Она постаралась сделать все дела, благодаря которым ей удалось поехать в командировку, как можно скорей, чтобы навсегда покинуть Германию.

Через некоторое время у нее появился сын Леонид, которому она отдала всю неиспользованную нежность и любовь.

– Ну а муж? – спросила я.

– Мужем моим не стал его отец, я этого не хотела, – ответила она.

– Так за кого же вы сидите?

– Я сижу за брата.

И тут оказалось, что она родная сестра того самого Шейнмана о котором мне тогда, около булочной Иванова, рассказывал Вася.

Я узнала, что родились они в богатой еврейской семье, где было несколько детей. Отец был банкиром. Семья была традиционной, детей воспитывали со всей строгостью. Забыла сейчас, как называлось то местечко, где они жили, где-то в Белоруссии, на границе с Польшей. Первым порвал с семьей, уйдя в революцию, старший брат. Когда Катя подросла, и она убежала из дома. И вот сейчас ей мстили за ее брата, до которого они уже добраться не могли.

Часто можно было встретить одинокую пожилую женщину, которая, казалось, всегда была погружена в какие-то думы и воспоминания. Я никогда не видела ее разговаривающей с кем-нибудь. Это была сестра Я.М. Свердлова. Мне рассказывали о ней, что муж ее, Авербах, был директором Астории. Я его видела много раз. Он приходил в наш дом к молодой красивой женщине, которую любил. Это был старый революционер, хромой, с бородкой, с интеллигентным лицом. В начале 37-го года, когда он был арестован, приехали и за ней. Звали ее Наталья Ефимовна. Весь дом интересовался тем, куда денется ее 16-летняя дочка. Далее, в разгар 37-го года, никто уже никем не интересовался. Каждый боялся за себя.

Сын Авербах был известным в 30-х годах литератором, членом РАПП, дочь была женой Ягоды. Все они были арестованы и, вероятно, убиты. Так что думать было о чем и о ком.

Вот что мне рассказали об этой женщине.

Вообще, много известных имен можно было услышать в нашем лагере: сестры Тухачевского, жены Бухарина, Якира, Косиора и других. Но были и совсем простые, малограмотные женщины. Правда, их было немного.

Когда я оглядываюсь на ту мою жизнь, я стараюсь восстановить, что же я, что же мы чувствовали? «Мы» – это можно сказать о себе и тех, с кем я сблизилась больше всех, а ведь там были люди, переживающие все иначе, по-своему, в зависимости от разных обстоятельств: от возраста, от того, обеспечены ли близкие, с кем остались дети и т.д.

Были дни, а особенно ночи, когда хотелось от тоски завывать, от тоски по сыну, по маме, от тревоги за Васю, за Мишеньку. Среди моих друзей мое положение было самое тяжелое. Я оставила ребенка и двух беспомощных стариков. У других были родственники, о детях тосковали, но не беспокоились.

Но люди ко всему приспособляются. И молодость, и надежды, и уверенность в том, что «долго это продолжаться не может», и дружба с умными, порядочными людьми помогали тянуть эту нелепейшую, голодную жизнь; природный юмор помогал находить смеш-

ное в самой этой нелепости. Часто мы соберемся вместе и хохочем до слез над каким-нибудь очередным наблюдением. Особенно выделялась своим блестящим остроумием Нина Лекаренко.

Самое тяжелое чувство – это чувство несправедливости. Но его мы ощутили в полной мере потом, когда пришлось жить на положении парий среди вольных людей, а там, в Томском лагере, мы все были одинаковы, и нам казалось, что большинство людей в таком положении.

29/IX 75

Опять долго не писала.

Гораздо легче читать, чем писать. А мне принесли на небольшое время Н.Раевского «Портреты заговорили», и каждый вечер я читала, пока глаза не слипались. Сейчас эта книга у Веры Морозовой. Она очень хотела ее почитать.

Только что смотрела по телевизору – митинги протеста по поводу казни в Испании пяти антифашистов. Когда я слышу речи выступающих на митинге, мне всегда хочется спросить: а как вы реагировали (или реагировали бы), когда сотни тысяч ваших советских граждан уничтожили? Как мало логики в человеческих поступках, как мало самостоятельной мысли и чувства! И какая скверная память!

Однажды летом мы проходили (с Анечкой) мимо группы малознакомых москвичек, но я услышала знакомое имя и остановилась. Одна из женщин (мне сказали потом, что это жена одного из комендантов Кремля) рассказывала об обстоятельствах смерти Серго Орджоникидзе. Она говорила, что профессору Плетневу предложили подписать акт о самоубийстве Орджоникидзе, но он сказал: «Я первый раз вижу самоубийцу, который стреляется в затылок!»

И я вспомнила...